

ВЫШЕ — ЛИНИИ — ФРОНТА



Деханов Андрей

Андрей Деханов

Выше линии фронта

«Автор»

2026

Деханов А.

Выше линии фронта / А. Деханов — «Автор», 2026

Июль 1941 года. Лётчик Василий Исаев сбит в воздушном бою. Мотор глохнет, парашют не раскрывается — и на грани смерти он вспоминает то, что знал с детских снов. А именно — летать. Так он становится самым страшным оружием против немцев. Тем, кого они не могут ни понять, ни поймать, ни остановить.

© Деханов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Пролог	5
Глава 2. Ельник	8
Глава 3. Сторожка	10
Глава 4. Шаг за шагом	12
Глава 5. Разговор	14
Глава 6. Крыша	16
Глава 7. Тень	19
Глава 8. Небо	22
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Выше линии фронта

Глава 1. Пролог

Июль 1941 года плавил Белоруссию. Воздух над аэродромом дрожал от зноя, пах жженой резиной, сухой травой и сладковатой, уже привычной вонью остывающих воронок. Третий день немцы приходили по расписанию, как на работу. Ровно в шесть утра.

Лейтенант Василий Исаев не спал уже третьи сутки. Спать в дощатой казарме было всё равно, что сидеть в мышеловке — одна зажигалка на крышу, и всё. Эскадрилья ночевала в щелях, вырытых сапёрными лопатками у самой кромки лётного поля. Василий лежал на спине, подложив под голову сложенный реглан, и смотрел в бледное, выгоревшее небо. Где-то за дальним лесом звук нарастал медленно, неотвратно. Низкий, вибрирующий гул, от которого ныли зубы.

— Шесть, — хрипло сказал в соседней щели комэск, старший лейтенант Гордеев. — Двенадцатые. Снова по наши души.

Василий молчал, считая про себя. Один, два, три... Шесть «Юнкерсов». Тяжелых, уверенных в себе. Значит, снова будут клевать полосу, жечь склады и пытаться достать уцелевшие «ишачки» в капонирах.

Тревогу дали, когда первая пара уже заходила на боевой курс.

Бежать к машине было далеко. Василий неся по жесткой, колючей траве, чувствуя, как в легких разгорается пожар. Его И-16 стоял в крайнем капонире — старенький, латаный-перелатаный, с заплатками на фюзеляже, похожими на старые шрамы. Механик Серёга, бледный от недосыпа, уже стоял на крыле. — Запускай, Васильич! — крикнул он, помогая лейтенанту забросить ноги в кабину. — Только вернись, слышишь? Мать у тебя в Коврове. — Вернись, — бросил Василий, надевая шлем. Он всегда это говорил, хотя с каждым вылетом верил в это всё меньше.

Мотор схватился с надрывным кашлем, выплюнул сизое облако и ровно, по-собачьи преданно зарычал. Земля провалилась.

Втроем против шести. Небо было мутным от солнца и пыли. Василий бросил машину в набор высоты, чувствуя, как перегрузка вдавликает в кресло. На разгоне, когда скорость перевалила за двести, он всегда чувствовал одно и то же: звенящую пустоту в животе и странную, детскую радость. Тело вспоминало, что оно рождено для этого — для скорости, для высоты, для свиста ветра по крыльям.

Бой начался сразу, без присказок. Небо стало тесным.

Трассы прошивали воздух, казавшийся твердым. «Юнкерс» впереди — огромный, неуклюжий, с неубирающимися шасси, похожими на лапы хищной птицы — шел ровно, как на параде. Василий свалил «ишачка» на крыло, зашел снизу, под защиту его стрелка, и потянул ручку на себя. В прицеле перекрестье легло точно на левый мотор. Он вжал гашетку. ШКАСы залились частой, злой дробью.

«Юнкерс» вздрогнул. Из-под капота вырвался жирный черный дым, машина клюнула носом и пошла вниз, волооча за собой дымный саван. Есть.

Краем глаза он поймал вспышку справа — кто-то из своих тоже достал цель. На секунду показалось, что они всё-таки хозяева в этом небе. Что можно отбиться.

А потом звук пропал.

Василий не сразу понял, что случилось. Просто рев мотора, ставший за эти минуты частью его самого, исчез. В кабину ворвался тугой, режущий свист. Лопасты винта замерли. И-16, потеряв тягу, мгновенно потяжелел на полтонны, клюнул носом и тяжело, неохотно завалился на левое крыло.

— Давай, родной, — забормотал Василий, вгоняя сектор газа до упора. — Давай, милый, только не сейчас.

Он крутил стартер, щелкал тумблерами магнето, давил на кнопку пуска. Мотор молчал. Мёртвый кусок чугуна и алюминия.

Земля в лобовом стекле накренилась и пошла вверх. Серая, чужая, в рыжих проплешинах.

— Работай! — заорал он, колотя кулаком по приборной доске. — Работай, мать твою!

Пальцы скользили по металлу. Он рвал ручку, давил на педали, пытаясь удержать машину, но «ишачок» падал. Он падал тяжело, как подбитая ворона, и всё внутри Василия падало вместе с ним. В висках грохотала кровь, в горле пересохло. Он бил по мёртвым циферблатам, дергал за тумблеры, хотя уже понимал — это конец. Мотор не запустится. Но руки сами, помимо разума, продолжали судорожно, отчаянно искать спасение.

— Ну же! — крикнул он в пустую кабину. — Ну!!!

Тишина. Только свист. Только земля, несущаяся навстречу, как бетонная стена.

Она была уже близко. Слишком близко. Теперь можно было разглядеть каждую травинку, каждый пенёк на вырубке. Земля смотрела на него сквозь плексиглас. Она говорила: поздно.

Поздно.

Ремни. Он рванул плечевые лямки. Кожаный замок, туго затянутый перед вылетом, не поддавался. Пальцы, сведенные судорогой, соскальзывали. Он рванул снова, вкладывая в это движение всю жизнь, и пружка наконец лопнула. Тело качнулось вперед.

Фонарь. Он был заклинен. Серёга предупреждал, что замок барахлит. Василий рванул ручку сброса. Ручка хрустнула и осталась в руке. Колпак не шел. Он ударил по нему кулаком, навалился плечом. Плексиглас со скрежетом поехал в сторону, открывая ревущую пасть неба.

Василий вывалился наружу.

Ветер ударил кувалдой. Он не падал — его сдуло в сторону, пронесло вдоль фюзеляжа. На одно ослепительное мгновение ему показалось, что он всё ещё летит. Что тело помнит, как держаться в воздухе.

А потом он остался один.

Маленькая точка в огромном, равнодушном небе. Без мотора. Без крыльев.

Рука сама метнулась к груди. Кольцо.

Он рванул.

Ничего.

Пальцы соскользнули с мокрого троса. Он рванул снова, вложив в рывок остатки сил. Вытяжное кольцо осталось в кулаке — холодное, бесполезный кусок железа. Парашют не хлопнул за спиной. Не рванул вверх, гася скорость. Он просто промолчал. Так же глухо, как только что молчал мотор.

— Нет, — прошептал Василий. — Нет, нет, нет.

Он дёргал за стропы, бил кулаком по брезентовому ранцу, рвал зачекованный клапан. Руки не слушались. Он бил по ранцу, как только что бил по приборной панели, и понимал, что это бесполезно. Парашют не раскроется. Но тело отказывалось умирать, оно всё ещё цеплялось за жизнь.

Земля летела навстречу. Слишком быстро. Серая, в пятнах полей, похожая на штабную карту. Где-то там были немцы. Где-то там были свои. Он никуда не успевал.

Вот и всё, — подумал он отстраненно, словно о ком-то другом. — Вот и всё, лейтенант Исаев.

Он закрыл глаза.

Ему пять лет. Он лежит на горячей печи в избе, укрытый тяжелым овчинным тулупом. На улице бушует гроза, и за окном дрожит старый наличник. Ему страшно. Гром кажется живым, он ходит по крыше. И тогда Васька зажмуривается изо всех сил и представляет, что он —

птица. Он отталкивается от кирпичей и вылетает в форточку. Ветер там, во сне, теплый и пахнет дождем. Он летит над спящей деревней, над рекой, над лесом, и ему совсем не страшно.

Он летел.

Он и сейчас летел.

Удивительно, но липкого, парализующего ужаса не было. Было только это забытое тепло из детства. Он вспомнил, как это — лететь. Вспомнил не умом, а лопатками, плечами, кончиками пальцев. Как будто не было этих лет, не было войны, не было мёртвого мотора.

Он открыл глаза.

До земли оставалось метров двадцать. Он не падал. Он скользил — вперед, над полем, над пыльной дорогой, к темной стене дальнего ельника. Тихо. Без винта. Без крыльев. Просто — летел.

Так не бывает, — мелькнуло в голове.

Он пронесся над самыми макушками сосен. Внизу мелькнула белка, замершая на ветке, блеснула вода в лесной канаве. И от этой невозможной, неправильной близости земли ему вдруг стало по-настоящему жутко.

Страшно не от высоты. Страшно от того, что это правда. Что он летит. Что мир сломался.

И в тот же миг нить лопнула.

Тело, которое секунду назад знало тайну полета, вдруг вспомнило закон тяготения. Ветер ударил в лицо с тупой, сокрушительной силой. Его крутануло, перекинуло через голову, и он рухнул в колючий, пахнувший прелью и смолой ельник.

Удар. Тяжелый, ломающий кости хруст. И глухая, ватная темнота.

Глава 2. Ельник

Очнулся он от запаха. Смола, прелая листва и что-то кислое, теплое — как кровь.

Затем нахлынул холод. Не морозный, а сырой, лесной, пробирающий до костей. Он забрался под гимнастёрку, лег тяжелым камнем.

Следом пришла боль. Острая, будто гвоздь в груди при каждом вдохе. Глухая тянущая — в боку. И еще одна, далекая, чужая — в правой руке, которая словно принадлежала кому-то другому.

Василий открыл глаза.

Над ним качались черные мокрые ветки. Сквозь них проглядывало серое низкое небо. Он долго смотрел на него, пытаясь понять, почему оно такое чужое. Потом память вернулась: кабина самолета, тишина, земля, летящая навстречу... Полет.

Он попытался сесть. Боль рванула в груди, заставив застонать сквозь зубы. Тело было тяжелым, непослушным, будто мешок с песком, брошенный в ельник.

Лежал он на боку среди молодых ёлок. Одна ветка царапала щеку, пахла смолой. Василий хотел ее убрать — но правая рука не поднялась. Она лежала на земле, вывернутая, в крови. Из-под кожи у локтя торчало что-то белое, острое.

Он отвернулся. Вокруг были только елки, мокрые ветки и серое небо в просветах. И тишина.

— Так не бывает, — подумал он.

Закрыв глаза. Стал дышать мелко, часто — так его когда-то кто-то учил. Может, Серёга? Тот остался на аэродроме, хлопнул по борту и сказал: «Только вернись». Он вернулся. Только не так, как надо.

Лес был тихий. Где-то далеко стучал дятел. От этого звука стало страшно — мир шел дальше, будто ничего не случилось. Будто его, Василия Исаева, не существовало.

Он попробовал позвать. Голос вышел хриплый, слабый:

— Эй...

Никто не ответил. Лес молчал. Дятел стучал. Ветка качалась перед лицом.

Так прошло время — может, час, может, два. Небо оставалось серым, низким. Он то проваливался в темноту, то выныривал. Каждый раз думал: я все еще здесь. Я все еще жив. Но радоваться этому или нет — не знал.

Потом услышал шаги. Тяжелые, неторопливые, с хрустом. Кто-то шел уверенно, как у себя дома. Шаги приближались. Василий медленно повернул голову — каждое движение отдавалось болью.

Между деревьями показался человек.

Не старик, просто немолодой. Телогрейка, сапоги, ружье за плечом. Лицо темное, обветренное, в морщинах. Шел ровно, смотрел под ноги, пока не увидел Василия.

Василий хотел крикнуть, поднять руку — но не смог. Человек остановился, посмотрел прямо на него. Затем подошел, опустился на корточки. Осмотрел руку, грудь, лицо. Светлые спокойные глаза человека, который уже видел всё.

— Лётчик? — спросил он.

Василий не ответил.

Человек не стал ждать. Снял ружье, прислонил к дереву. Подсунул руки под Василия — одну под спину, другую под колени. Василий застонал.

— Терпи, — сказал человек. — Терпи, парень.

Поднял его. Василий оказался у него на руках — легкий, пустой внутри, кроме боли и холода. Человек нес его уверенно, дышал ровно. Иногда перехватывал удобнее.

Василий смотрел на его шею — темную, морщинистую — и думал: кто ты? Почему помогаешь?

Но мысли таяли. Темнота мягко накрыла его, как одеяло. Он закрыл глаза и провалился.

Глава 3. Сторожка

Очнулся он не сразу — сознание возвращалось урывками, словно кто-то осторожно включал и выключал свет.

В первый раз он почувствовал под собой что-то твердое. Не земля — доски. В воздухе пахло дымом, сушёной рыбой и чем-то травяным. Он попытался открыть глаза, но веки были тяжелыми, свинцовыми. Слышался треск огня в печи, чьи-то медленные шаги, скрип двери... А потом снова тишина.

Второй раз его вернула боль. Кто-то уверенно, но без грубости ощупывал его правую руку, поворачивал, давил. Василий застонал и инстинктивно дернулся.

— Лежи, — раздался низкий спокойный голос. — Не дёргайся.

Он с трудом открыл глаза.

Потолок был из темных бревен, между которыми пробивался мох. Прямо над лицом висела керосиновая лампа с закопчённым стеклом. Желтый дрожащий свет едва разгонял полумрак. Василий повернул голову. Над ним стоял тот самый человек — лесник. Телогрейка, закатанные рукава, большие темные руки в трещинах. Он держал Василия за вывернутую руку и вправлял кость у локтя.

— Терпи, — сказал лесник, не поднимая глаз.

Боль была острой, она волной прошла от локтя до плеча. Василий прикусил губу, чтобы не закричать, и только выдохнул сквозь зубы.

— Хорошо, уже почти, — пробормотал лесник.

Что-то резко дернулось. Василий вскрикнул коротко, непроизвольно. И тут же стало легче: боль сменилась глухой тупой тяжестью. Рука теперь просто лежала на столе, накрытая чистой тряпкой.

— Перелом, двойной, — пояснил лесник.

— И вывих. Кость я свёл. Заживёт.

Он отошел, вернулся с ковшом. Вода пахла корой и была чуть горьковатой.

— Пей.

Василий попробовал приподняться — и тут же новая волна боли обожгла грудь. Два или три ребра, понял он по интонации лесника.

— Я... где? — хрипло спросил он.

— У меня.

Лесник помог ему напиться. Вода освежала, но сил не прибавляла. Голова кружилась, мысли путались.

— Ты кто? — спросил Василий.

Лесник долго смотрел на него своими светлыми глазами, будто решая, стоит ли отвечать.

— Егор Михайлович, — наконец сказал он. — Лесник. Тут живу. И вышел, оставив Василия одного.

Потолок поплыл перед глазами. Где-то капало, печь потрескивала. Запахи дыма, рыбы, сухих трав смешивались в тяжелый, густой воздух. Мысли разбегались. Боль тянула из руки, из груди, из бока. Он закрыл глаза и провалился в сон.

Дальше дни сливались в один. Иногда он просыпался ночью от жара, иногда утром — от холода. Кто-то поил его отваром, менял повязки, говорил: «Пей. Терпи. Спи». Но лица этого человека он не помнил. Всё было как во сне, всё перепутано.

Ему снился самолет. Мотор молчал, сколько бы он ни крутил стартер. Земля летела навстречу слишком быстро. Он рвал кольцо, но парашют не раскрывался...

Просыпался в холодном поту, слушал, как потрескивает печь, и снова засыпал. Однажды сквозь дрему он услышал голос: — ...двое на льду остались. Тоже кричали. Потом перестали.

Голос принадлежал леснику. О ком это он? Василий не стал спрашивать. Просто лежал и слушал, как трещит огонь.

На третий или четвертый день он очнулся по-настоящему. Утро было тихим, дождливым. За маленьким окном виднелись мокрые черные ели. Он лежал на узкой деревянной кровати, укрытый тулупом. Правая рука прибинтована к телу, ребра туго обмотаны. Дышать больно, но терпимо.

В комнате никого не было. Сторожка была крохотная: одна комната, печь, стол, лавка, кровать. На стене ружьё, в углу — икона без оклада. На столе кружка, ложка, кусок хлеба.

Скрипнула дверь. Вошёл Егор Михайлович с ведром воды. Поставил его у печи, посмотрел на Василия.

— Очнулся, — сказал он утвердительно.

— Очнулся, — повторил Василий.

Лесник подошел, приложил ладонь ко лбу.

— Жара нет. Это хорошо.

Он сел на лавку, долго молчал, глядя в пол. Потом поднял глаза.

— Ты кто будешь?

— Лётчик. Младший лейтенант Исаев. Василий.

Егор Михайлович кивнул, словно ждал именно этих слов.

— Егор Михайлович, — повторил он.

Он налил воды из ведра, подал кружку. Василий пил жадно, вода текла по подбородку, по шее.

— Спасибо, — сказал он, когда напился.

Лесник не ответил. Поставил кружку на стол и снова замолчал. Василий тоже молчал. Он не знал, что говорить, не знал, что будет дальше. Война осталась где-то там, за еловым лесом, а здесь — чужая сторожка, чужой человек и тишина.

— Как я сюда попал? — спросил он.

— Я тебя нашёл, — сказал Егор Михайлович. — В ельнике. Ты лежал.

— Далеко?

— Три версты.

Три версты. Значит, лесник нёс его на руках через весь этот лес.

— Спасибо, — повторил Василий.

Егор Михайлович не ответил. Подошел к печи, подбросил дров. Сказал, не оборачиваясь:

— Ты кричал во сне. Про небо, про мотор, про то, что летишь. — Не бойся, — добавил он, закрыв заслонку. — Я никому не скажу.

Он взял ружьё, повесил на плечо и направился к двери.

— Поесть — на столе. Вода — в ведре. Не вставай. Руке нужен покой. И вышел.

Василий остался один. Смотрел в потолок, слушал, как капает вода, как потрескивает печь. Где-то далеко гудел ветер. Он закрыл глаза. Впервые за эти дни он не провалился в забытие. Просто лежал. Мелко дышал. Терпел. И понимал — он все еще жив.

Глава 4. Шаг за шагом

Утро началось с тишины.

Василий проснулся раньше обычного — ещё до того, как в сторожке послышались привычные звуки: скрип половиц, шорох одежды, стук ведра у двери. Он открыл глаза и увидел, что место Егора Михайловича пусто. Лавка была аккуратно заправлена тулупом, на столе лежал только огарок свечи да кружка с остывшим чаем.

Он сел на кровати медленно, стараясь не тревожить рёбра. Тело уже привыкло к этим движениям, но каждое утро начиналось заново — словно он впервые учился сидеть, стоять, дышать без боли. Василий опустил ноги на пол. Доски были холодные, влажные от ночной сырости. Он сделал глубокий вдох, задержал дыхание, прислушался к себе. Ничего не болело так сильно, чтобы нельзя было встать.

Он поднялся.

Поначалу колени дрожали, как у жеребёнка, который делает первые шаги по скользкому льду. Но через мгновение дрожь утихла, уступив место странному ощущению устойчивости. Мир вокруг перестал качаться. Сторожка стояла неподвижно, будто ждала его пробуждения.

Василий прошёл три шага до стола. Опёрся о столешницу левой рукой — правая всё ещё была плотно прибинтована к груди, чужая и тяжёлая. Он посмотрел на свои пальцы, попытался пошевелить ими под тканью. Боль отозвалась глухим эхом где-то глубоко внутри, но это была живая боль. Значит, рука тоже просыпается.

За окном шёл дождь. Капли стекали по мутным стёклам, оставляя тонкие дорожки. Лес был серым, мокрым, бесконечным. Где-то вдалеке капало с ветвей — размеренно, монотонно, как часы.

Вдруг дверь скрипнула.

Егор Михайлович вошёл неслышно, промокший до нитки, с корзиной рыбы в руках. Вода стекала с телогрейки, образуя лужицу на полу. Он снял сапоги, повесил одежду на гвоздь и лишь потом заметил Василия.

— Встал? — спросил лесник спокойно, будто ничего другого и не ожидал.

Василий кивнул. Ему вдруг стало неловко — как будто он нарушил какой-то негласный порядок, опередил события.

— Я думал... ты ушёл рано, — сказал он хрипло.

— На ручей ходил, — Егор Михайлович поставил корзину на стол. Рыба блестела чешуёй, пахла рекой и тиной. — Думал, успею до дождя. Не успел.

Лесник достал из-за пазухи свёрток. Развернул тряпку — там оказался хлеб, тёмный, плотный, с кисловатым запахом печного дыма. Василий смотрел на него жадно, почти испуганно. Хлеб казался чем-то невозможным, забытым, нереальным.

— В деревне был? — спросил он тихо.

— Был, — ответил Егор Михайлович, отрезая ломоть. — Там слухи ходят. Кто говорит — немцы Смоленск взяли, кто — дальше пошли. А я не слушаю. Мне здесь слухов хватает.

Он протянул кусок хлеба Василию. Тот взял его обеими руками — левая держала крепко, правая просто лежала сверху, тёплая и тяжёлая. Откусил. Хлеб был жёсткий, настоящий. Он почувствовал, как к горлу подступает комок.

— Почему ты не спрашиваешь меня? — вдруг вырвалось у него.

Егор Михайлович поднял взгляд. Его лицо было спокойным, усталым, но внимательным.

— О чём?

— О войне. О том, что там. За лесом.

Лесник помолчал, глядя куда-то мимо Василия, в окно, где ветер качал верхушки ёлок.

— Ты сам расскажешь, когда сможешь, — сказал он наконец. — Или не расскажешь вовсе. Это твоё дело.

Василий молчал, чувствуя, как слова застревают в горле. Он хотел сказать что-то важное, объяснить, почему ему нужно знать, что происходит там, за пределами этого леса, этой сторожки, этой тишины. Но не смог.

Егор Михайлович доел свой хлеб, вытер руки о штаны.

— Лечись, Вася, — сказал он мягко. — Когда встанешь на ноги — тогда и думать будешь. А сейчас — лечись.

Он встал, подошёл к печи, подбросил дров. Огонь вспыхнул, осветив комнату тёплым оранжевым светом. Василий остался сидеть за столом, сжимая в руке крошки хлеба. Смотрел на огонь и чувствовал, как внутри разгорается что-то новое — не страх, не тоска, а тихое, упорное желание жить.

Завтра будет новый день. И он сделает шаг. Просто шаг. Без страха.

А пока — он сидел у огня, слушал, как потрескивают дрова, и ждал, когда придёт сон.

Глава 5. Разговор

К концу четвертой недели он начал дышать полной грудью.

Рука всё еще висела на груди, перехваченная тугими бинтами Егора Михайловича. Старик не позволял её трогать, цедил сквозь прокуренные усы одно и то же: «Пусть прирастает». Но пальцы уже жили своей жизнью. Василий по ночам, когда старик храпел за занавеской, сжимал их в кулак и разжимал. Боль была острой, режущей, но это была хорошая боль — боль живого мяса, а не мертвого гипса.

Он начал выходить. Сначала — до крыльца, держась за перила. Потом — до ручья, где вода звенела по камням. Тропа петляла меж узловатых корней, норовила подставить подножку, но он шёл. Медленно, опираясь на срубленную орешину, но шёл сам.

Егор Михайлович не нянчился. Он не подставлял плечо и не охал над ухом. Он просто шёл рядом — вернее, то уходил далеко вперед по своим лесным делам, то бесшумно появлялся сзади, то сидел на поваленном стволе и ждал, пока Василий доковыляет до поворота. В этом не было равнодушия. В этом было суровое, мужицкое знание: если держать под руку — мужик не научится стоять. Если не дать упасть самому — не поймет, как нужно подниматься.

В тот вечер они сидели на крыльце. Август остывал быстро, и от земли тянуло сыростью. Небо очистилось от дневной хмури, распахнулось черным бархатом. Звезды здесь, в глуши, висели низко, их можно было достать рукой. Василий задрал голову, шурясь на холодную россыпь. Молчал. Егор Михайлович рядом возился с сетью — перебирал ячею узловатыми пальцами, что-то распускал, вязал заново. Движения у него были старые, но точные, как у часовщика.

Тишина висела долго, густая, звенящая комарами.

— Парашют рядом лежал, — вдруг сказал Егор Михайлович, не отрывая взгляда от узлов. — Когда я тебя нашел.

Василий не повернул головы. Он и так знал, что старик смотрит не на него, а в темноту, в тот самый день.

— Весь в комок сбился, — продолжал старик. — Нераскрытый. Стропы только целы, крепкие.

Пальцы Егора на секунду замерли.

— Я тогда глянул — и не поверил. С такой верхотуры сверзиться, об сосны побиться, да еще и живой остаться. Да с тряпкой этой, которая не сработала. Думал, мерещится.

Василий молчал. В горле пересохло, язык стал шерстяным.

— Я тебя не пытал, — голос старика стал тише, глуше. — Рано было. Ты в горячке метался. Кричал. Всё про небо орал. Про то, что летишь.

Егор Михайлович положил сеть на колени. Посмотрел на Василия сбоку, прищулив один глаз.

— А сейчас — уже нормально... — Сейчас спрашиваю.

Василий долго смотрел на звезду, что висела прямо над коньком сторожки. Она подрагивала.

— Я не знаю, как это вышло, — сказал он хрипло, слова царапали глотку. — Мотор обрезало. Я ручку от себя — не идет. Выпрыгнул. Кольцо рванул — тишина. Дёргал, как одержимый...

Он сглотнул, кадык дернулся.

— Земля уже в лицо дышала. Я всё понял. Даже если сейчас хлопнет — не успеет наполниться. Скорость такая, что в лепешку.

Он замолчал, заново переживая то падение. Свист ветра в ушах, темнота, летящая снизу вверх.

— И тогда... — он запнулся. — Я не знаю, как это назвать.

— Назови как есть, — ровно сказал Егор Михайлович.

— Я полетел, — выдохнул Василий. — Понимаешь? Не упал. Я полетел. Как в детстве. Закрываешь глаза — и кажется, что не вниз летишь, а паришь. Я тогда это вспомнил. И... полетел.

Он наконец повернулся. Посмотрел на старика. В глазах Василия стояла мольба, страх, готовность к любому удару. Скажите, что я сошел с ума. Скажите, что это бред. Что так не бывает.

Егор Михайлович смотрел на него долго, изучающе. Потом медленно, тяжело кивнул.

— Значит, полетел, — произнес он так просто, будто Василий сказал, что пойдет сейчас за водой.

Ни удивления, ни суеверного ужаса. Просто констатация факта.

— Ты веришь? — голос Василия дрогнул.

— Я тебя в ельнике нашел, — ответил старик, снова берясь за сеть. — В лепешку сбитого, живого, с парашютом, который камнем вниз ушел. Если это не полёт — тогда я, Вася, старый стал, ничего в жизни не понимаю.

Он затянул узел. Пальцы двигались мерно, успокаивающе.

— Я в Финскую всякого наглядился, — сказал он, словно сам себе. — Видел, как мужики в снегу по трое суток лежали, когда кровь уже стыла, а они дышали. Видел, как с развороченным брюхом до своих доползали. Не знаю как. Господь миловал, значит. Не мне судить.

Он замолчал. Василий тоже молчал. Сова ухнула совсем близко, в старых елях.

— Только одно запомни, — сказал Егор Михайлович, не поднимая глаз от узлов. — Это не просто так с неба свалилось.

— Что? — не понял Василий.

— Дар это, — старик поднял голову. Светлые, выцветшие от возраста глаза смотрели прямо, без лукавства. — Дар. А дар — он не для того, чтобы им перед девками форсить. И не для того, чтобы в землю зарыть, стыдись.

Он отложил сеть, встал, хрустнув коленями. Посмотрел вверх, туда же, куда смотрел Василий.

— Война, Вася, — сказал он глухо. — Немец прет, как саранча. Ты лётчик. Ты «юнкерса» свалил, хотя сам должен был в щепки. А теперь ты без мотора в небе держаться можешь.

Старик постоял, пожевал губами.

— Ты подумай об этом, — сказал он. — Что это значит. Только не сейчас, голова у тебя пустая еще. Сейчас — спать.

Егор Михайлович ушел в сторожку, плотно прикрыв за собой дверь. Василий остался один.

С правдой, которая оказалась страшнее и проще любой выдумки.

Он поднял левую руку. Разжал перебинтованные пальцы. Повернул ладонь к небу, словно пытаясь зачерпнуть холодный звездный свет. И держал так долго, пока рука не начала стыть.

Он всё еще не знал, как это — управлять этим.

Но теперь он знал главное.

Это было.

Глава 6. Крыша

На тридцать второй день Егор Михайлович решил, что пора.

Василий к тому времени уже ходил ровно, не кланяясь земле, и правая рука, хоть и ныла на погоду, начала слушаться. Но он всё еще был прикован к земле. Тяжелый, плотный, из костей и мышц. А в небе — он был бы воздухом.

Егор не стал ничего объяснять. Он вышел на двор ранним утром, когда туман еще цеплялся за верхушки елей, и кивнул на крышу сторожки.

— Полезай, — сказал он.

— Куда? — не понял Василий, вытирая руки ветошью.

— На крышу. В сено прыгать будем.

Василий посмотрел на старика, потом на крышу. Низкая, вросшая в землю избяная кровля, метра три от силы. Под ней — старый, слежавшийся стог.

— Я не за этим выжил, — глухо сказал Василий. — Чтобы с сараев прыгать.

— Ты выжил, чтобы летать, — отрезал Егор Михайлович. — А по земле ты ходишь, как покойник.

Спорить было бесполезно. Старик уже приставил к стене лестницу — грубую, срубленную из молодых сосен.

Василий полез.

Крыша была скользкой от зеленого мха. Он сел на конек, свесив ноги. Посмотрел вниз. Сено казалось далеким, чужим. Три метра. Смешно. Он падал с трех километров, и земля летела ему в лицо со скоростью курьерского поезда. Там не было времени на страх. Здесь, на крыше, время было. Оно тянулось, как сосновая смола, густое и липкое.

— Ну? — голос Егора снизу звучал глухо.

Василий сглотнул. Посмотрел на свои руки, вцепившиеся в мокрый конёк. Перевел взгляд на сено.

Он оттолкнулся.

Он не полетел. Он рухнул. Тяжелым, мертвым мешком, не успев даже сгруппироваться. Удар выбил воздух из легких, сено смягчило падение, но колкая труха тут же набилась в рот, в нос, за шиворот. Он перекатился, закашлялся, чувствуя себя не боевым летчиком, а сбитой вороной.

— Еще, — сказал Егор Михайлович. Он даже не пошевелился.

Василий молча полез обратно.

Второй раз. Третий. Четвертый.

Он падал одинаково. Тело не слушалось. Оно знало только один закон — закон притяжения. Оно хотело упасть, разбиться, стать частью этой сырой земли. Оно не помнило неба. К вечеру всё болело — ребра, колени, спина. Каждый прыжок был унижением. Каждый подъем по лестнице — пыткой. Он злился на старика, который сидел на чурбаке, строгал какую-то щепку и смотрел. Смотрел без жалости, без сочувствия, но и без насмешки. Просто ждал.

— Я не могу, — выдохнул Василий, в очередной раз вытирая кровь с разбитой о сено губы. — Не выходит.

— Еще раз, — сказал Егор Михайлович.

— Сколько можно, старый! — взорвался Василий. — Я тебе что, медведь в цирке?

— Пока не полетишь, — спокойно ответил старик. — Или пока шею не свернешь. Лезь.

И Василий полез. Потому что спорить с этим лесным истуканом было бесполезнее, чем пытаться взлететь, махая руками.

Солнце село. Роса легла на траву. Василий сидел у стены сторожки, привалившись спиной к холодным бревнам. Он не мог поднять рук. Он дышал хрипло, загнанно.

— Не выходит, — сказал он уже без злости, просто констатируя. Как говорят о плохой погоде.

— Не выходит, — согласился Егор Михайлович.

Он подошел, кряхтя, и сел рядом, прямо на землю. Не на чурбак. Рядом. Плечом к плечу. Так они и сидели в синих сумерках — старый лесник и изломанный лётчик.

— Я в Финскую одного такого видал, — вдруг сказал Егор Михайлович, глядя куда-то поверх елей. — Белофинны его «летучим» звали. Он по лесу ходил — не ходил, а плыл. По болоту, по грудь в воде, ночью. Ни кочки не пропустит, ни ветку не хрустнет. Я его спрашиваю: как ты так можешь? А он смотрит на меня, как на дурака. «Не знаю, — говорит. — Просто иду».

Старик пожевал губами, сплюнул.

— А потом его снайпер снял. В чистом поле снял, где и спрятаться негде. И всё.

Он повернул голову, посмотрел на Василия в упор. Глаза у старика в сумерках казались совсем светлыми, прозрачными.

— Ты себя не насилуй, Вася. Не пытайся быть тем финном. Ты — лётчик. Ты не ходишь. Ты летаешь.

— Я не знаю, как это делать, — тихо, надтреснуто сказал Василий. — Там, в небе... оно само. Я не думал. Я просто... перестал падать. А здесь я думаю. Я смотрю вниз и думаю: «Сейчас я упаду». И я падаю.

— Вот и не думай, — сказал Егор Михайлович, поднимаясь. Колени его хрустнули. — Завтра опять полезешь. Но завтра прыгай не в сено.

Он пошел к крыльцу. Остановился на первой ступеньке, обернулся.

— С крыши прыгай сразу в небо.

И скрылся в темноте сеней.

Василий остался один.

«Прыгай в небо».

Слова крутились в голове, не находя зацепки. Как это — прыгнуть в небо? Небо же везде. Оно над головой. В него нельзя прыгнуть, в нем можно только быть. Или он что-то путает?

Он поднял голову. Над лесом зажглась первая, бледная звезда.

Что-то дрогнуло глубоко внутри. Не здесь, не в мышцах. Где-то под ребрами, там, где четыре недели назад была только боль и пустота. Дрогнуло и отозвалось на далекий, забытый холод падения.

Он встал. Тело было тяжелым, но эта тяжесть была другой — не мертвой, а спящей. Он пошел в сторожку, лег на лавку, укрылся тулупом.

На следующий день он снова сидел на коньке крыши.

Он не смотрел на сено. Он смотрел перед собой.

Он не думал о том, как упадет. Он пытался вспомнить, как летел.

Он прыгнул.

И снова упал. Мешком.

И на второй день. И на третий.

Он падал одиннадцать суток.

Тело отказывалось помнить. Оно знало только смерть, только удар. Василий падал, вставал, лез на крышу и падал снова. Внутри росла глухая, черная пустота. Он стоял перед дверью, к которой у него когда-то был ключ, но он потерял его, забыл, где он, и теперь бился в эту дверь лбом, ломая кости.

Егор Михайлович всё видел. На десятый день, когда Василий, сплюнув кровь, молча пошел за лестницей, старик его окликнул:

— Ничего, — сказал он. — Дверь откроется. Не сейчас.

— Когда? — глухо спросил Василий, не оборачиваясь.

— Когда приспичит, — ответил Егор Михайлович. — Когда по-настоящему надо будет. Не не для сена. Когда под тобой земля гореть начнет.

Василий тогда не понял. Ему казалось, что «надо» — это сейчас. Что «надо» — это усилие воли.

Он не знал, что такие двери открываются только тогда, когда выбора не остается. Когда их вышибают снаружи.

Это будет потом.

А пока — он падал. Каждый день. В сено. В пустоту.

И Егор Михайлович молчал. Сидел на своем чурбаке. Строгал палку. И ждал.

Глава 7. Тень

Егор Михайлович ушел в деревню на самом рассвете, когда туман еще лежал в низинах белыми, плотными пластами.

Он уходил туда раз в неделю — выменять соль, выпросить спичек, взять хлеба, если у кого-то уродилась лишняя краюха. Василий к этому привык. Привык к тому, что лесник исчезает молча, оставляя сторожку пустой и гулкой, и возвращается только к сумеркам. Приходил он всегда одинаково: мокрый по пояс от росы, усталый, с темным лицом. Иногда с пустыми руками. Иногда — с горстью серой соли, с черствым ломтем, завернутым в тряпицу.

В тот день он вернулся раньше. Солнце еще не добралось до зенита, когда Василий, сидевший на крыльце, услышал шаги.

Это были не его шаги. Егор Михайлович ходил по лесу тяжело, врастая в землю, уверенно. А сейчас кто-то почти бежал. Хрустели ветки, шуршала хвоя — быстро, рвано, задыхаясь.

Василий поднял голову от сети. Он чинил ту самую ячею, над которой старик колдовал в вечер их разговора. Пальцы уже слушались, правая рука почти окрепла, и он понемногу, через «не могу», учился работать левой. Получалось скверно, но получалось.

Егор Михайлович вывалился из-за елей. Он не был мокрым от дождя — дождя не было. Он был мокрым от пота. Лицо — серое, как пепел. Глаза — не те, что всегда. В них не было привычного лесного спокойствия. В них стоял холодный, тяжелый испуг.

Он подошел к крыльцу, тяжело привалился к перилам. Снял с плеча ружье, прислонил к стене. Сел на ступеньку, тяжело дыша. Долго молчал, глядя в истоптанную землю у своих сапог.

— В деревне, — сказал он наконец. Голос был хриплым, чужим. — Немцы. И не только. Василий ждал. Сеть в его руках замерла.

— Люди там. В чёрном. Форма такая... не наша, не немецкая. Ихняя, но другая. Какая-то... особенная. На рукавах — знаки. Руны.

Он сглотнул, потер заросшую щеку.

— Солдаты перед ними бегом бегают. Что скажут — то и делают. Офицеры ихние, немцы, перед ними навтыжку стоят. А эти... молодые, некоторые совсем пацаны, ходят, как хозяева. Царя в голове не имеют.

— Кто они? — тихо спросил Василий.

— Не знаю, — Егор Михайлович поднял голову. Посмотрел на Василия в упор. — Но они не про войну спрашивали. Они про небо.

Василий почувствовал, как холод пробежал по спине. Пальцы, державшие сеть, онемели.

— Кто-то видел, — сказал старик. — Из соседней деревни мужик. Он в лесу был, корье драл. Видел, как ты над деревьями шел. Без крыльев. Рассказал.

Егор Михайлович подался вперед, упершись руками в колени. Глаза его стали совсем светлыми, прозрачными.

— Они ищут не лётчика, Вася. Они ищут то, что летает.

В горле пересохло. Василий сглотнул сухую слюну.

— Кто они?

— Не знаю. Говорю же. Они власть имеют такую, что коменданты немецкие перед ними шапки ломают. И они не про самолеты и танки спрашивают. Они про небо.

Старик замолчал, тяжело переводя дух. Потом добавил, понизив голос до шепота:

— И ещё. Они в ельнике были. Где я тебя нашел.

Василий подался вперед.

— Нашли?

— Нашли, — кивнул Егор. — Кровь. Не раскрытый парашют...

Он помолчал, давая словам упасть.

— Они поняли, Вася. Что ты упал без купола. И живой остался.

Василий молчал. Он смотрел на лес — темный, мокрый, бесконечный. Там, за этими елями, были люди. Они искали его.

— Далеко до деревни? — спросил он.

— Четыре версты. Может, пять.

— А до нас?

Егор Михайлович не ответил. Он смотрел в лес, словно пытался разглядеть там что-то сквозь стволы. Долго смотрел.

— Два дня, — сказал он глухо. — Может, три. Если вглубь пойдут, по тропам.

Он тяжело поднялся. Отряхнул колени.

— Собираться надо.

— Что?

— Уходить, — сказал Егор Михайлович. — Тебе уходить. Мне — тебя проводить.

Он шагнул в сторожку. Василий остался на крыльце. Один. Со словами, которые били под дых. Со страхом, который пришел не за себя. Ему не было страшно умирать — он уже падал с неба. Ему стало страшно за этого старого, молчаливого человека, который вдруг стал ему ближе отца.

Он вошел в сторожку.

Егор Михайлович стоял у печи. Смотрел в огонь, сложив за спиной руки. Не двигался.

— Куда уходить? — спросил Василий.

— На восток, — не оборачиваясь, сказал старик. — Через болото. Там тропа есть звериная. Немцы её не знают, топь там.

— А ты?

Егор Михайлович всё так же смотрел в пламя. Пальцы его рук, сцепленных за спиной, побелели.

— Я останусь.

— Почему?

— Потому что я тут живу, — просто сказал он. — Это мой дом. Моя земля. Куда я пойду?

Он наконец повернулся. Посмотрел на Василия. Спокойно. Как всегда. Только в уголках глаз залегла глубокая, смертельная усталость.

— Я тебя доведу. До самой топи. Тропу покажу, вешек наставлю. Дальше — сам.

— Я не хочу, — сказал Василий. — Я не могу тебя оставить.

— А кто тебя спрашивает? — отрезал Егор Михайлович. В голосе не было злости, только глухая, каменная твердость. — Ты — лёгчик. Ты воюешь. Я — нет. Я лесник. Моё дело — лес беречь. Я тут каждую кочку знаю. Меня тут ни одна собака не найдет, если сам не выйду.

Василий молчал. Он хотел сказать: «Я буду драться. Мы будем драться здесь. Вместе». Хотел сказать: «Ты меня спас, я тебя не брошу».

Но он молчал. Потому что знал: старик прав. Его место — в небе, над этой войной. А здесь — лес. Здесь — человек, который просто хочет дожить свою жизнь там, где родился, и лечь в землю, которую знает.

Ночью Василий не спал.

Он лежал на лавке, смотрел в черный потолок. Слушал, как гудит в печи огонь. Как Егор Михайлович тяжело ворочается на своей лежанке. Как где-то далеко, за десятки верст, что-то гудит. Низко, вибрирующе. То ли ветер в проводах, то ли машины на большаке.

Он думал.

Он думал о том, что уйдет. Что оставит этого человека здесь. Одного. С немцами, которые придут. С людьми в черном, которые ищут чудо. Он думал о том, что не знает, как это —

уходить. Что не умеет. Что всю жизнь он бежал только в одну сторону — вверх. А теперь надо ползти по земле. Через грязь, через трясину. В неизвестность.

Он думал о даре.

Одиннадцать дней падений. Одиннадцать дней глухой, черной пустоты. Дверь была заперта, и он ломал об неё кости. Но сейчас, в темноте, он вдруг почувствовал — дрогнуло. Не в мышцах. Глубоко внутри, под ребрами. Как будто там, за дверью, кто-то слышал его мысли. Кто-то пошевелился во сне.

Василий медленно, чтобы не скрипнуть лавкой, поднял левую руку. Повернул ладонью вверх. В темноте. И держал так долго, вслушиваясь в тишину.

Ничего.

Он опустил руку. Закрыв глаза.

Завтра. Завтра он попробует ещё раз. С крыши. Прямо в небо.

Егор Михайлович разбудил его задолго до света. В сторожке было сыро и холодно. На столе лежал хлеб — последний, черствый. И стояла кружка с водой.

— Ешь, — сказал старик. — Быстро. Жуй на ходу.

Василий ел стоя, глядя, как Егор Михайлович собирается. Но он не собирался в дорогу. Он метался по сторожке, как зверь в клетке. Что-то прятал — сыпал соль в берестяной туес, заворачивал в промасленную тряпицу какие-то бумаги, снимал иконы с угла.

— Ты чего? — спросил Василий.

— Немцы вчера в деревне были, — сказал Егор Михайлович, не оборачиваясь. — Допросы. Сегодня к обеду будут здесь. По тропе пойдут.

Он остановился посреди комнаты. Посмотрел на Василия. Прямо, не мигая.

— Не уйдем, Вася. По болоту с тобой мне не дойти. Не успеем. Завязем.

Василий положил хлеб на стол.

— Тогда что?

— Тогда — учись, — сказал Егор Михайлович. Голос его стал жестким, как сталь. — Сегодня. Сейчас. Никогда ждать.

Он толкнул дверь и вышел во двор. Василий шагнул следом. Небо на востоке только начинало сереть, наливаясь свинцом. Сено под крышей лежало темной, влажной массой.

Егор Михайлович подошел к стогу, потрогал его рукой. Обернулся.

— Лезь, — сказал он. — На крышу. И не слезешь оттуда, пока не полетишь. Даже если сдохнешь там от голода. Лезь!

Глава 8. Небо

Он прыгал до самого полудня.

С крыши — в сено. Снова на крышу. С крыши — в сено. Один раз. Второй. Пятый. Десятый. Он давно сбился со счета. Тело гудело, как перетянутая струна. Руки дрожали мелкой, противной дрожью. Сено под крышей отсырело, стало тяжелым, и каждый раз он падал в него, как в свежую, рыхлую могилу.

Егор Михайлович не отходил. Он стоял внизу, у самого стога. Смотрел. Молчал. Иногда бросал коротко: «Еще». Иногда: «Не так, мягче». Один раз, когда Василий в очередной раз тяжело рухнул, разбив колено, старик сказал тихо, почти себе под нос:

— Ты думаешь, что падаешь. А ты летишь. Просто забыл, как это — не бояться.

Василий не понимал. Он злился на себя, на старика, на эту проклятую крышу. Каждый раз, карабкаясь по приставной лестнице, он смотрел вниз — на сено, на Егора, на тесный двор, — и чувствовал одну только глухую, вязкую пустоту. Дверь была заперта. Ключ потерян.

Он прыгнул в очередной раз. Упал. Сено хрустнуло, сухая труха полетела в лицо, забиваясь в нос. Он лежал на спине, тяжело дыша, и смотрел в небо — серое, низкое, чужое. Как тогда, над лесом.

И вдруг — почувствовал.

Не понял умом. Просто — почувствовал. Тепло. Далеко. Там, где ребра сходятся к сердцу. Как тогда, в детстве. Как тогда, в падении. Оно было где-то там, за глухой дверью. И оно шевельнулось.

Василий встал. Отряхнул с колен труху. Полез на крышу снова.

Он прыгнул.

И — на долю мгновения — не упал.

Это было не полет. Это было сопротивление. Тело не рухнуло мешком, как падало одиннадцать дней. Оно зависло. На долю секунды. Может, на полсекунды. Как будто воздух на миг стал плотным, как вода, подхватил его — и тут же отпустил, испугавшись собственной смелости.

Он упал в сено. Лежал, глядя в доски крыши. Сердце колотилось где-то в горле.

— Еще, — сказал Егор Михайлович. Голос его был ровным, но в нем звенела сталь.

Василий встал. Полез. Прыгнул.

И снова — задержка. Дольше. Почти секунда. Тело слушалось. Неохотно, через сопротивление, но слушалось. Он падал, но падал медленнее. Плавнее. Как будто внутри, в самой глубине костей, медленно, со скрипом проворачивался заржавевший механизм.

— Еще.

Он прыгал. И с каждым разом эта задержка становилась длиннее. Секунда. Две. Три. Он всё еще не летел. Но он уже не падал. Он — висел. На мгновение. В воздухе. Мир вокруг замирал, звуки исчезали, и он оставался в этой звенящей тишине — один, легкий, свободный от собственного веса.

На десятом или одиннадцатом прыжке он не упал в стог. Он перелетел его. Метра три. Медленно, плавно, как сухой осенний лист. И приземлился на ноги — на самом краю сена, шатаясь, хватая ртом воздух, но на ноги.

Он стоял, пошатываясь. Смотрел на свои руки. На Егора.

Егор Михайлович смотрел на него. Молчал. Долго. Потом сказал одно слово:

— Вот.

Василий открыл рот. Он хотел закричать. Хотел засмеяться, как мальчишка. Хотел что-то сказать этому старому, упрямому человеку. Но не успел.

Со стороны дороги — далеко, но в утренней тишине слышно было каждый шорох — слышался звук. Сухой треск. Низкий, вибрирующий рёв. Мотоциклы.

Егор Михайлович не дернулся. Он побледнел, осунулся, но потом лицо его стало спокойным. Твердым. Как камень. Как будто он ждал этого всё утро.

— В дом, — сказал он. — Быстро. Внутрь.

Они вошли в сторожку. Егор Михайлович захлопнул тяжелую дверь, задвинул засов. Подошел к печи, отодвинул чугунную заслонку, пошарил кочергой в золе и вытащил что-то, обернутое в промасленную холстину. Развернул. Ружьё. И горсть патронов. Немного.

— Держи, — он протянул двустволку Василию. — Но не стреляй. Пока не надо.

Василий взял ружьё. Тяжелое, ледяное. Он знал, как управляться со ШКАСом, знал пушку истребителя, но это тяжелое охотничье ружьё в руках казалось чужим и неуклюжим.

— Куда мне?

Егор Михайлович задрал голову, глядя на потолок.

— Чердак. Люк над печкой. Там лежи. Не дыши.

— А ты?

— А я — открою, — сказал Егор Михайлович. — Они не знают, что ты тут. Я скажу — один живу, бобылем.

— Они не поверят, — хрипло сказал Василий.

— Поверят, — отрезал старик. — Или нет. Но ты сиди. Понял? Что бы ни было — сиди. Не смей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.